

## ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

*О.Н. ЯНИЦКИЙ*

### **СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО «ПЕРЕХОДА»: МЕХАНИЗМЫ САМОСОХРАНЕНИЯ РИСКОГЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

**Размышления над книгой Ю.А. Левады «От мнений к пониманию.  
Социологические очерки, 1993–2000»**

---

**Яницкий Олег Николаевич** — доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН. Адрес: 117259 Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, строение 5. Факс: (095) 719–07. Электронная почта: yanitsky@mtu-net.ru

---

Собрание очерков, в которых рассматриваются более тридцати направлений социологии политики [1], — не предмет рецензирования в общепринятом смысле слова. В основе данной статьи — размышления над несколькими ключевыми темами, совокупность которых, следуя Ю.А. Леваде, можно обозначить как «социологию политического перехода»: (1) социокультурные основания и логика «перехода»; (2) «точки поворота» и механизмы трансформации политической системы; (3) коридор возможностей российской демократии (контекст); (4) массовый протест как «мотор» политических изменений и (5) постсоветский политический человек.

#### **Социокультурные основания и логика «перехода»**

Прошлое детерминирует настоящее и еще долго будет предопределять будущее — таков базовый тезис Ю.А. Левады. Он называет десятилетие 1988–1998 гг. эпохой вынужденных поворотов. Что это означает?

Во-первых, вынужденные перемены обычно совершаются «чужими» руками, то есть старыми институтами и людьми. Во-вторых, лидерами перемен становятся люди, умело следующие в фарватере происходящего (иными словами, приспособленцы, политические утилитаристы). Отсюда, в-третьих, хронический дефицит «впередсмотрящих», политических стратегов. В-четвертых, «врожденный» порок вынужденного процесса — его хаотичность, неуправляемость. Однако этот хаос «является на деле необходимым условием формирования определенного баланса разнородных тенденций, позволяющих избежать катастрофического распада общества» (с. 167).

Вынужденная демократия versus вырожденный политический режим — такова формула этого «перехода» (с. 167). Отсюда следует, что «политическое пространство российского общества на длительный исторический период — вероятно, как минимум на несколько ближайших десятилетий — будет определяться противоречивыми процессами распада различных уровней тоталитарной системы и поисками более или менее жизнеспособных форм цивилизованного развития... Это делает феномен «человека политического» во всех его современных уровнях фигурой *переходной*, а рамки его деятельности — *вынужденными*» (с. 108). Поэтому в «переходный» период никакие «рационально придуманные конструкции» не работают, работает только «вынужденная», то есть навязанная обстоятельствами (часто вопреки воле акторов), демократия (с. 109).

«Переход» как детерминация настоящего и будущего прошлым — эта точка зрения разделяется многими исследователями, включая и автора настоящей статьи. Проблема заключается в степени и формах детерминации. М. Гефтер утверждал, что российское общество в принципе не реформируемо. [2, с. 271–277]. По А.С. Ахиезеру, оно совершает некоторое маятниковые колебательные движения, то есть проходит инверсионные циклы [3]. Высказывается мнение, что на руинах старого общества молодым поколением будет создано нечто качественно новое, гораздо более «европейское» [4]. Ю.А. Левада полагает, что вынужденные перемены определяются «наличным коридором возможностей» (с. 167), однако структура этого коридора, степень его социокультурной или геополитической заданности остались за рамками исследования.

Возникают по крайней мере еще два теоретически важных вопроса. Первый вопрос касается результатов распада общества: только ли хаос возникает на этих руинах? Частично автор дает ответ на вопрос, утверждая, что «энергия отрицания не была трансформирована в энергию созидания» (с. 34), «демократический распад 1993–1995 гг. не реализовал лозунг «иной реформы» (с. 63) и даже привел к «черной дыре» взаимоуничтожения элитарных групп (с. 79). Однако остается неясным, только ли посредством «баланса терпения и протеста» (с. 168) сохраняется эта рискованная социальная система.

Логика процесса «перехода» в России может быть представлена триадой «распад — эмиссия энергии распада — самоорганизация». Под энергией социального распада я имею в виду массовые действия, разрушающие сложившийся социальный порядок, его нормативно-ценностную и институциональную структуры. Выделение энергии распада — это актуализация социального риска в форме неконтролируемых действий атомизированных социальных акторов. Эмпирически эта энергия существует в форме потоков вынужденных переселенцев, беженцев, бездомных, безработных, а также выступает в форме местных войн, криминальных разборок, заказных убийств и массового терроризма [5, с. 54]. Проведенные И. Клямкиным и Л. Тимофеевым исследования «теневого России» показали, сколь всеобъемлющим стал в ней сегодня «теневого порядок», который «подхватывает» эту энергию, трансформируя ее в теневые и криминальные структуры [6].

Вопрос второй. У. Бек, Э. Гидденс и другие теоретики рефлексивной модернизации говорят об опасностях, порождаемых «автодинамизмом мо-

дернизационного процесса», чреватым рисками и непредсказуемыми поворотами [7]. Есть основания полагать, что российское общество вошло в полосу демодернизации, то есть «развивается по нисходящей» [8; 9, с. 37–47]. По-видимому, можно говорить о риск-симметрии «восходящей» и «нисходящей» линий исторического процесса. Оба эти процесса потенциально рискогенны.

Представляются существенными еще три социокультурных фактора процесса перехода. Первый из них — «усреднение». В постсоветском обществе «сохраняют свое влияние мощные социально-психологические стереотипы «усреднения» собственного положения (нормативные установки типа «быть как все», «не высовываться» прятать от постороннего глаза как чрезмерное богатство, так и чрезмерную бедность...» (с. 44). Второй фактор — терпение, которое, по Ю.А. Леваде, является мощным гасителем экстремальных амплитуд политических колебаний, не позволяющим социальной системе пойти «вразнос» — эта мысль проходит красной нитью через всю книгу. Социальное содержание «терпения» определяется по-разному. Н.Ф. Наумова полагает, что терпение включает и активную реакцию на изменения, и кризисный стиль общения, и отстранение от социальности [10, с. 26, 39]. Однако Левада прав, когда говорит, что «в любом случае позиция «трудно, но можно терпеть» никак не должна отождествляться просто с традиционным русским «безответным» терпением: в значительной мере она связана с ожиданием «ответа», то есть определенного результата, эффекта, личного или социального». Представляется, что русское терпение далеко не всегда было «безответным», скорее речь может идти о некоем «пунктире» безответности, прерываемом взрывами недовольства и актами отчаяния. Эмоции и расчет, угроза и просьба — разные стороны современного российского протеста.

И, наконец, традиционализация. «Апелляции к корням, традициям, привычным образцам восприятия и действия — характерные примеры стереотипов традиционализирующего типа. Они сегодня представляются универсальной и «естественной» реакцией на катаклизмы модернизации во всех ее старых и новых формах» (с. 64). Причем традиционные стереотипы используются сегодня вне традиционного контекста. Эти структуры «оказываются чем-то наподобие инородных вкраплений», служащих инструментом критики или снятию стрессовых состояний (с. 65). С этим трудно согласиться. Идет общий процесс традиционализации и архаизации политической жизни [11]. На это указывает и автор книги. На наш взгляд, можно говорить скорее о «демодернизированной социокультурной среде» со вкраплениями «островков модернизации».

#### **«Точки поворота» и механизмы трансформации политической системы**

«Точки поворота» обнажают скрытые механизмы трансформации политической системы и общества в целом. На «поверхности» событий лежат известные кризисы и переломы 1991–1992, 1993–1994, 1998 и 1999–2000 годов. Если посмотреть глубже, то каждый случай был отмечен трансформацией властных механизмов, по большей части скрытой. В основе этих событий — два крупных периода в истории постперестроечной России: моби-

лизационный и постмобилизационный (критический). В «геологических пластах» политического перехода обнаруживаются и «растянутые» точки, такие как кризис культуры, неготовность к восприятию ценностей, допускающих сомнение и необязательность устоявшихся норм (с. 309). Я ограничусь рассмотрением только политических механизмов «поворота».

Как утверждает Левада, в «постмобилизационный период» реформы продолжались, но это — «реформы без реформаторов», где действует сила инерции уже запущенного маховика (с. 31). Доминантами этого периода (после 1994 г.) являются отрицание, хотя и неполное, незавершенное, предшествующей фазы, массовое недоверие ко всем институтам и политическим силам и уход молчаливого большинства в повседневность. Народ отделяется от политической жизни и, если и участвует в ней, то только как «зритель» (с. 50–51). Все это факторы неустойчивого политического баланса, хотя и грозящего в любой момент превратиться в «обвал» (с. 33). Что же все-таки является «осью» маховика? «Референтный центр», молчаливое и терпеливое большинство, «властная вертикаль» или маховик — лишь метафора, а в действительности (по крайней мере, в развитых индустриальных странах) устойчивость социальных систем обеспечивается «многореферентностью» и соответствующими сетевыми структурами [12].

Всякий раз опасность «вылета» политического маятника (что означало бы разрушение российского политического механизма) гасится взаимным отталкиванием — сдерживанием противоборствующих сил, а также усталостью народа и силой привычки. Начинается период хрупкого «мирного сосуществования» сил «одобрения–неодобрения», точнее, декларативного принятия (ситуаций или программ) и практического их отторжения (с. 33–37). Постепенно нарастают центристские тенденции: сначала «центр» появляется на политической арене как мысленный конструкт (с. 41), а сегодня — как реальная политически организованная сила или, как ее принято называть, моноцентрическая политическая структура. Ю.А. Левада квалифицирует ее как организацию политического господства по старому моноиерархическому образцу (с. 88). Речь идет не о реальном политическом центре общества. Ирония российской политической жизни состоит в том, что аппаратные игры вновь становятся единственным фактором перемен и гарантом политической стабильности общества (с. 99). Обратной стороной медали является уход реальной политики с публичной сцены и из сферы легитимных политических институтов в «серую область корпоративизма», в ту сферу, которую У. Бек называет субполитикой [13, с. 282–285, 293].

Психологической подпоркой политической стабильности является опять же терпение. «Стабильность доли горожан, при всех перипетиях общественной жизни оценивающих свою позицию в категориях «можно терпеть», — залог устойчивости, даже ультрастабильности общества, способного «гасить» или демпфировать в своей толще не только резкие колебания, происходящие на уровне элитарных структур», но и падение уровня жизни. «Здесь перед нами один из базовых, «осевых» механизмов поддержания социального равновесия» (с. 44). Стабильность поддерживается негативными социально-психологическими факторами: усталостью, недоверием и эскапизмом. В массовых электоральных симпатиях также преобладают негативные установки: доминантой политического периода после 1985 г. является отрицание (с. 52).

За устоявшуюся неустойчивость общество платит высокую цену: политика приобретает «спасательский», «пожарный» характер, а долговременные интересы приносятся в жертву поддержанию неустойчивого положения. «Балансирование на грани» конфронтации между инструментальным и ценностно-ориентированным действиями является в конечном счете гибельным, так как не только отвергает стратегическую рефлексию и долгосрочное программирование, но вообще не имеет принципиального решения (с. 62).

Этот политический «тяги-толкай» приводит к смене парадигмы. Как верно отмечает Ю.А. Левада, лозунг «иной реформы» периодически реализовывался не в новых социально-экономических программах, а в переходе к иной парадигме политического процесса: «от парадигмы типа «что делать» к парадигме типа «кто виноват», то есть от рационализирующего стереотипа к традиционалистскому» (с. 63). Фактически речь идет о демодернизации политического процесса, и на этом фоне выглядят несколько инородными пассажи о модернизации и ее катаклизмах (с. 64, 65 и др.), впрочем, не имеющие принципиального значения. Смена парадигмы развития означает фактически бег вверх по лестнице, ведущей вниз. Каждый шаг по пути реформ, попыток закрепления трансформаций «оказывался обусловленным «двумя шагами назад» — реставрацией механизмов мобилизационного типа, то есть архаизацией структуры социально-политических ролей и процессов» (с. 98). Иными словами, политический маятник все более косил влево, в сторону демодернизации политического процесса. «Последствия этой архаизации стиля общественной жизни будут сказываться долго» (с. 98). Думаю, что речь идет далеко не только о стиле.

Наконец, о феномене, который Ю.А. Левада называет «интригой неизвестности». Неизвестность будущего (неопределенность, нераспознаваемость, некалькулируемость последствий) — типичный мегариск. Собственно говоря, с метатеоретической точки зрения риск определяется именно как «ситуация или событие, в которой нечто социально ценное (включая жизнь самих людей) поставлено на карту, а их результат неопределен» [14, р. 11]. Новейший опыт России «приоткрывает главную «интригу» всего процесса: ожидаемая и провозглашенная стабилизация при отсутствии реальных средств для этого (как «физических», так и «программных») превращается в создание новых «проблемных точек» и новые попытки балансировать между обострениями различного типа (с. 201). Иными словами, старые риски сохраняются, новые накапливаются, а ресурсов для их смягчения как не было, так и нет.

Недолгий век российского политического плюрализма заканчивается. Незрелые политические партии и движения так и не стали полноценными игроками на российской политической сцене. Чем дальше, тем больше «спектр» сжимается в «ось», пресловутую «властную вертикаль», уходящую корнями в политическую структуру советского общества (с. 59). Как говорит Ю.А. Левада, декларированный политический плюрализм «трансформировался в бинарную дихотомическую структуру, не оставляя места для «третьей» или «четвертой» и так далее силы (с. 89). Методологически важно, что и в обозримом будущем российское политическое пространство будет определяться противоречивыми процессами распада тоталитарной системы и поисками форм цивилизованного развития (с. 108).

Возникает вопрос: если это пространство все более «сжимается» и «вертикаль» доминирует, то как это соотносится с другой мыслью — о сети взаимодействий множества центров власти и влияния (с. 102). Представляется, что автор говорит о разных уровнях этого пространства: «государственном» и «гражданском». На первом преобладают вертикальные связи, на втором — горизонтальные. Сегодня государственные структуры пронизаны (скорее, опутаны) сетями международных и российских финансово-промышленных групп. Российское гражданское общество уже давно поддерживается сетями (и питается ресурсами) западных и международных правительственных и благотворительных организаций. Но самое главное, что теневые и криминальные сети пронизывают и то, и другое, связывая эти уровни воедино. Фактор явно негативный, но опять же стабилизирующий.

Особую важность в данном отношении представляют инструменты политики. Можно перефразировать известную максиму: «Политик, скажи, каким средством ты пользуешься, и я скажу, кто ты». Цель не только оправдывает средства, но и средства обнаруживают подлинные цели. Инструменты, которыми пользуются российские талейраны для достижения своих целей, далеко не демократические. Когда всеобщая политическая мобилизация посредством совмещения массовых иллюзий и массового страха перед «своей» властью стала невозможной, стал использоваться другой инструмент — «нагнетания страха перед политическим противником» (с. 101). Словом, изменился мотив мобилизации, но не инструмент ее достижения: один страх сменил другой. При этом сама мобилизация (с сопутствующим ей периодическим эмоциональным взбадриванием электората, его размежеванием на «своих–чужих–лишних», спекуляциями на экзистенциальном недоверии) как инструмент политики продолжала широко использоваться (с. 124). Подобное «развитие» инструмента мобилизации есть признак архаизации политического процесса. Цель и суть российского политического механизма — контроль меньшинства над большинством — остались неизменными.

#### **Коридор возможностей российской демократии**

В западной социологической литературе используется понятие структуры политических возможностей [15], где акцент делается именно на возможностях, способах их расширения. У нас же в центре внимания находятся ограничения. Дело не только в этом. Понятие коридора (структуры) политических возможностей работает тогда, когда спектр политических сил представлен публично, когда есть устоявшиеся правила игры, а также легитимные источники политических ресурсов и столь же законные способы их мобилизации. Еще одно принципиальное различие состоит в том, что в условиях западных демократий (которые я отнюдь не идеализирую) мобилизация с целью расширения коридора возможностей является актом свободного выбора, тогда как в наших условиях этот выбор — вынужденный (неважно почему именно: из-за безальтернативности ситуации, возможности «выбора» между плохим и очень плохим или из-за прямого насилия). Естественно, что российские условия далеки от этого идеала, поэтому коридор возможностей в современной российской традиции представляет собой пространство политической аннексии, причем его захват осуществляется любыми доступными актору (группе, клану) средствами.

Как отмечает Ю.А. Левада, российская демократия остается скорее «продуктом разложения тоталитарной партийно-государственной системы, чем результатом какого-то особого демократического действия». Демократические силы вынуждены искать опоры и прикрытия в новом авторитаризме (с. 89). Ю.А. Левада формулирует эту мысль жестко и однозначно: российская демократия — заложник авторитаризма и его политики (с. 90). Иначе говоря, коридор политических возможностей демократического действия в России в значительной мере детерминирован исторически. По моему мнению, антагонистический симбиоз авторитаризма и демократии — одна из наиболее трагичных для России форм негативной солидарности.

Имеются ли в российском обществе хотя бы минимальные степени свободы, рамки маневра и выбора? В постсоветской России, говорит Ю.А. Левада, демократия могла быть только вынужденной, «зрительской», пассивной (с. 95). Эта мысль проводится им на протяжении всей книги. Каковы же основные ограничители демократии? Во-первых, «переход» определялся прежде всего «корневой системой» общества («субстратом»), то есть сочетанием официальных структур с повседневными, современных — с предшествующими (с. 79). «Сегодня (1996 г.) этот «советский» субстрат в значительной мере определяет пределы демократии, возможностей в постсоветском российском обществе». Этот «субстрат» не готов к восприятию радикальной модернизации. В отсутствии институциональных структур российской демократия оказалась зависимой от состояния «всероссийской массы» настроений и голосов (с. 80). Как же можно расширять коридор политических возможностей, когда основная масса электората сама себя ограничивает «равнением на середину», что, с одной стороны, обусловлено страхом, «боязнью высываться», а с другой — обеспечивает этой массе относительно безопасное и безответственное — политически — существование? (с. 301). Итак, демократия — власть народа, однако качество этого коллективного субъекта политического действия является главным «встроенным» ограничителем демократического перехода. Второй, не менее существенный внутренний ограничитель — это негативная доминанта политических процессов. В электоральном поведении господствуют негативные установки. «Несомненной доминантой всего периода после 1985 года, пишет Ю.А. Левада, является не столько утверждение, сколько отрицание, отвержение, отталкивание» (с. 52). Это относится не только к бесконечным политическим расколам и размежеваниям, сколько к самой логике политического процесса: «определение через отрицание» (с. 53). Иными словами, реформы — это прежде всего не «позитив», а отрицание, разрушение, причем не только прошлого, но и настоящего. Третий встроенный ограничитель — реактивность российского политического мышления. Российская политика носила и продолжает носить не прожективный, но преимущественно реактивный характер. Среди двух поколений реформаторов, отмечает Ю.А. Левада, «практически не было политиков (или они не были востребованы) «дальнего прицела», способных подниматься над конъюнктурой текущих успехов или поражений» (с. 52). Реактивности политики соответствует «реактивный тип общественного мнения, представленный — и осознаваемый — как непосредственный ответ на какой-то внешний вызов, например, личное влияние политического деятеля или эффект масс-медиа» (с. 61).

Ограничитель внешний — это стабилизационные усилия власть держащих. В ситуации, когда стабилизация жизненно необходима, а стабилизирующие системы отсутствуют, единственным, по мнению Ю.А. Левады, способом снижения риска нового распада является отказ от «излишеств» невостребованной демократии. К ним автор относит свободу слова и права человека, «общегражданские права и конституционную законность» и разумеется — недоразвитую многопартийность (с. 187). Итак, снова «стабилизация» через откат, попятное движение.

### **Массовый протест как «мотор» политических изменений (1996–1997 годы)**

Здесь Левада достаточно категоричен: «сколько-нибудь активного массового политического участия в стране не было никогда»; «принудительно пробужденные и в разной степени растревоженные общественные группы оставались преимущественно пассивными зрителями в политическом театре» — никогда, даже в самые крутые моменты они не становились активными участниками политических процессов (с. 51). Общественные протесты в стране слабы, поскольку не организованы, не имеют «социальных рамок», в которых только и возможен направленный политический протест; общественное недовольство диффузно, не имеет конкретной направленности, а потому протест против политики властей превращается в просьбу о помощи, адресованную тем же властям; «диффузный... протест не создает ни субъекта социального действия, ни его общих ценностей» — «ностальгическое сожаление об утраченном... «счастливым прошлом» в качестве организующей ценности не работает»; наконец, если я правильно понимаю автора, социальный протест в России продолжает использоваться в качестве политического инструмента в борьбе различных «элитарных» сил (с. 156–157).

Ю.А. Левада обозначает еще несколько принципиальных характеристик массового протеста тех лет: носителями протестных настроений являются малообразованные, наименее «продвинутые», менее всего вовлеченные в процессы перемен слои и группы населения. Поэтому их чаяния более обращены к прошлому — «ко всеобщей государственной зависимости»; велик разрыв между «декларативным протестом» и реальным участием в акциях протеста; потенциал массового протеста «составляет» треть от числа опрошенных (с. 145–54).

С этим можно было бы вполне согласиться, но автор выдвигает весьма сильный, «генерализующий» тезис, относящийся к целому десятилетию (1988–1998 гг.). Отсутствие организованных социальных движений за права человека и работника «порождает единственное действительно универсальное и эффективное стремление значительного большинства населения — приспособиться к переменчивой общественной ситуации. Здесь реальная, традиционная и получающая постоянное подкрепление основа легендарного российского всетерпения» (с. 172). Иными словами, массовых социальных движений в «переходный период» не было. Или их вообще не могло быть?

Вероятно сегодня уже мало кто помнит, что полное название народных фронтов 1988–1989 гг. было «народные фронты в поддержку перестройки». Они вовлекли в свои ряды несколько миллионов человек. Только массовые экологические протесты тех лет (которые фактически были первой формой



легального политического протеста в СССР) собирали каждый раз миллионы человек. Политической и организационной основой (и инфраструктурой) этих движений были газеты «Советская Россия» и некоторые другие издания с миллионными тиражами. Например, лидер массового политического движения Народный фронт Эстонии имел детальную и многократно публично обсуждавшуюся экономическую программу реформ, так называемый республиканский хозяйственный расчет [16]. По моему мнению, в России (в отличие от прибалтийских республик) массового политического движения не могло быть просто по «техническим причинам»: слишком велика и разнородна ее территория, слишком сильны были (скрытые под унифицирующей маской «совковости») этнокультурные и иные различия, следовательно, критической массы концентрации протестного потенциала достичь было невозможно вообще.

Второе непреодолимое препятствие — социокультурный разрыв между центром и периферией, точнее — северо-западом и юго-востоком страны. Приведу пример из собственной практики. Масштабное международное исследование по «демократическому участию», проводившееся Европейским банком реконструкции и развития на территории всего постсоветского пространства, пришлось прекратить в частности потому, что за Уралом эта категория не то чтобы не работала — была просто непонятной. Так что для авторитарного государства политический риск со стороны социальных движений весьма невелик. Однако угроза социального риска (то есть риска для населения) «со стороны» среды обитания (деградирующих социотехнических систем), а также рисков, социально конструируемых (терроризм), продолжает нарастать, и эти риски сложно предотвратить только политическими средствами. Массовых движений нет и не предвидится, но солидарности остались.

#### **Человек политический и его солидарности**

Отправной точкой анализа и одновременно его генерализующей идеей является здесь концепция принципиальной двойственности («двоемыслия») советского человека как социально-антропологического типа, то есть его способность придерживаться двух противоположных убеждений. Ю.А. Левада не устает повторять, что в своих намерениях и действиях это — «человек лукавый». Данная мысль проходит через всю книгу. В сущности «лукавость» — доминанта, предопределяющая поведение российского электората на всех поворотах новейшей политической истории. Сформированный эпохой принудительного единомыслия, утверждает Ю.А. Левада, «советский» человек остается и надолго останется двойственным, приспособленным к отеческой заботе со стороны власти и готовым скорее к «единодушному» одобрению (или отрицанию), чем к ответственному действию и самостоятельной мысли. Но в то же время способным ценой сделки с властью обеспечить себе условия для выживания в собственной, «домашней» скорлупе. Ни быстрых, ни легких изменений в таких установках, конечно, ожидать нельзя» (с. 17). Ю.А. Левада квалифицирует как «лукавую» всю «стагнирующую эпоху», имея в виду адаптацию к наличным политическим структурам и карьеризм, основанный на конформизме (с. 512).

В связи с этим вернемся к феномену терпеливости российского народа. Представляется, что ответ «трудно, но можно терпеть» тоже лукавый, но в

несколько ином, нежели предлагает автор, смысле. Значительная часть россиян «терпит» не потому, что есть надежда, а потому, что в стране (и рядом с каждым домом) есть еще солидный запас ресурсов, которые можно «приватизировать», а проще говоря, украсть. «Мирная разборка» телефонных и иных кабелей, заводского оборудования, строений и прочих элементов производственных и городских инфраструктур осуществляется отнюдь не по щадящей чеховской модели («Злоумышленник»). Эта разграбловка (иначе, приватизационный беспредел снизу) — ползучий распад общества, прикрываемый эвфемизмом «терпения».

Из контекста книги Ю.А. Левады следует, что политический человек эпохи — это прежде всего человек адаптирующийся (и адаптируемый). Речь идет «о пассивных, понижающих формах адаптации («уменьше вертеться и тому подобное)». В то же время сохраняется отмечавшееся ранее стремление большинства поддерживать «равнение на середину» (с. 173). Это также «человек ловкий». Поначалу кажется, что эти два определения противоречат друг другу. В действительности российская ловкость отнюдь не является формой свободного выбора, это та же адаптация, только к критическим условиям, агрессивной (отчужденной) среде. «Каждое время, говорит Ю.А. Левада, то есть каждая социальная ситуация, «выбирает» — поддерживает, пестует, продвигает — подходящий для нее тип человека. Если на поверхности советской системы находился человек послушно-карьерный, то с ее распадом на переднем плане... оказался человек ловкий, ориентированный на ближайший успех и не связанный ни ценностными, ни социально-групповыми рамками ответственности» (с. 274).

Подобная сиюминутность ориентаций, зависимость поведения от причудливой конфигурации условий момента, движение по жизни «короткими перебежками» — все это разные способы ухода от действительности с целью защиты от стресса, которые Ю.А. Левада обозначает как «уход в повседневность». Значительная «часть людей сознательно или не вполне сознательно отстраняет от себя самую тревожную, самую мучительную информацию, замыкаясь в собственных повседневных заботах. (Подобным же образом отстраняются люди и от ответственности за происходящее в стране)» (с. 198).

Ю.А. Левада обозначает две важные ступени внутреннего (кризисного) состояния человека, имеющие непосредственное отношение к его политическому поведению. Первая, достаточно известная — это апатия. Несколько пиков эмоциональной мобилизации периода 1988–1993 гг. сменились длинной «нисходящей» апатичного состояния российского электората. Результатом кризисных потрясений 1994 г., пишет Ю.А. Левада, стало решающее изменение: «формирование защитного механизма политической апатии, который оградил значительную часть населения от окол властных страстей и тем самым содействовал социальному и даже физическому выживанию народа в условиях потрясений "в верхах"» (с. 24). «Вероятно, впервые в нашей истории повседневность одержала столь убедительную победу над политической» (с. 29–30).

Кажется, что апатия есть последнее средство самосохранения атомизированного индивида. Однако это, к сожалению, не так. Есть следующая критическая ступень. Ю.А. Левада называет ее «астеническим синдромом», то

есть «отсутствием нормальной болевой реакции на разрыв социальной ткани, а также на разрыв «связи времен» (реакция на действие не связана с учетом его последствий). В общем, стремление отделаться, отстраниться от всего узла тревог и противоречий (с. 198–199). При таком состоянии общественной психологии массовые политические ожидания россиян уже достаточно давно носят преимущественно стабилизационный характер: на первом плане — требование «порядка» (с. 182). Что же касается самоопределения россиянина как человека политического, то оно уже долгое время осуществляется через отрицание (с. 52).

Какие же солидарности формируются в подобном контексте? Ю.А. Левада подчеркивает, что переходный период отмечен формированием негативных солидарностей и идентификаций, в основе которых лежат сомнения, недоверие, отрицание. Негативные солидарности, построенные на балансе «терпения и протеста» (с. 168), являются в сущности одним из факторов сохранения рискогенных социальных систем. В строгом смысле слова негативная солидарность — это солидарность социальных акторов, имеющих противоположные интересы, однако вынужденных поддерживать друг друга в целях сохранения объемлющей их социальной структуры [17]. Негативные солидарности привлекательны тем, что освобождают их членов от чувства ответственности перед обществом. Внутри подобные солидарности скрепляет сговор, «вовне» обращено единственное устремление — сохраниться, которое всегда реализуется за чей-нибудь счет (других социальных общностей или природы). Проблема негативных солидарностей очень сложна и требует специального анализа. Поэтому затрону лишь некоторые ее аспекты, связанные с политическим «переходом».

Распад, о котором много говорится в книге, вовсе не обязательно означает всеобщую социальную атомизацию. Напротив, макросолидарности типа «свои против чужих» становятся конституирующим фактором социального и политического пространства. Этот тип солидарности можно также назвать единением «упрощенцев», видящих мир в черно-белых тонах. Распад создает также солидарности изгоев, лишних людей. Распад страны спровоцировал возникновение солидарностей гонимых — от коммунистов до «лиц кавказской национальности». Мотивационный букет здесь достаточно сложен: тут и страх утери былого статуса, и сопротивление распаду привычных связей, и стремление организовать для достижения политических целей.

В зависимости от длительности периода распада солидарности «лишних» могут быть как краткосрочными («пересидеть», «перетерпеть»), так и долговременными, то есть трансформироваться в организованности. В последнем случае смысл солидарного чувства и характер коллективных действий меняются, как это и происходило с коммунистами на протяжении последнего десятилетия. Комбинацией первого и второго типов выступают «солидарности обманутых» (вкладчиков, военных, инвалидов, демобилизованных, очередников на квартиру и др.) [18]. За ними идут солидарности «лишних» (безработных, пенсионеров, жителей Крайнего Севера, вынужденных переселенцев). Если условно разделить общество на элиту и народ, мы получаем по крайней мере еще три типа солидарностей: утилитаристов, середняков и аутсайдеров. Как пишет Ю.А. Левада, «российский «духовный» анархизм и советская традиция небрежения всеобщими правовыми

принципами внесли свою лепту в формирование сугубо утилитарных, инструменталистских установок по отношению к государству, праву, парламентаризму и прочему» (с. 237).

Действительно, за десятилетие реформ социальная (профессиональная) элита, да и не только она, создала массу «лукавых» (фиктивных) солидарностей с единственной целью откачки финансовых ресурсов Запада. Однако эта элита не только создавала подобные фиктивные организованности. Как отмечает Ю.А. Левада, в обстановке распада «центральных» ценностных структур социальные элиты, особенно периферийные, становятся практически единственным генератором повседневных образцов поведения и тем самым «барьером на пути всеобщего распада» (с. 210). Эти элиты продуцируют повседневность как лекарство от страха потрясений и распада прежних общностей и солидарностей. Ю.А. Левада объясняет феномен «притяжения середины» следующим образом: быть частью большинства безопаснее и безответственнее (с. 301). На фоне этой общей тенденции все более проявляется другая, противоположная: солидарности тех, кого уже «обожгло», кто уже был подвержен не гипотетической опасности, но реальному (смертельному) риску. Здесь все наоборот — эти люди отвергают повседневность, «высовываются», кричат во весь голос, стучатся во все двери, а главное — не только принимают ответственность за себя, но и выполняют работу, которую обязано делать государство. Водораздел между этими типами проходит по линии «терпеть возможно-невозможно». Первые еще надеются на позитивный ответ государства, вторые действуют сами, на свой страх и риск.

В заключение Ю.А. Левада ставит вопрос: почему ситуации, подобные кризису осени 1998 г., не дали толчок к созданию социально-политического феномена типа польской «Солидарности» 1980 года? Ответ: потому что преобладающим было «универсальное и эффективное стремление значительного большинства населения приспособиться к переменчивой общественной ситуации» (с. 172). Несомненно, стремление приспособиться сыграло свою роль. Этот вывод был подтвержден проведенным мной в сентябре 1998 г. телефонным опросом. «Да, ситуация резко ухудшилась, но мы будем продолжать делать то, что делали раньше», — таково было общее мнение. Однако в случае «Солидарности» сработал закон социального сравнения. «Солидарность» возникла в портовых городах Гданьске и Гдыне, но не в Варшаве. В этих городах (я был там, когда разворачивались эти события) контраст между жизненными стандартами рабочих-портовиков и флотских, ходящих в «загранку», был слишком велик. Еще разительней был контраст качества жизни между теми, кто получал государственную пенсию, и теми, кто заработал ее за рубежом (а именно в этих городах оседала значительная доля последних). Нельзя сбрасывать со счетов и национальный характер. Поляки тоже были вынуждены «вертеться». Но они строили этот процесс «по восходящей», стремясь приспособиться не к «совковым», а к западным стандартам, чему способствовали обе противоборствующие великие державы.

### **Заключение**

Российские реформы носят исторически и ситуативно детерминированный и потому вынужденный характер, что накладывает отпечаток самоограничения на весь политический процесс, каким бы радикальным или хаотиче-

ским он ни казался. Модернизация общества, в том числе политическая, если она осуществляется форсированно и оплачивается ценой большой крови и социальных катастроф, неизбежно заканчивается «откатом», то есть длительным нисходящим процессом демодернизации. Рискогенные социально-политические системы порождают свои, специфические способы самосохранения, фактически — продления кризисно-критических состояний. Терпение и отчуждение — ресурсы такого самосохранения. Чрезвычайно высокая амплитуда колебаний общественных настроений на исторически коротком мобилизационном отрезке времени («массовое доверие — разочарование и поношение», по Ю.А. Леваде) приводит затем к «длинной волне» апатии и отчуждения. Вынужденный переход к демократии, спешное конструирование демократических институтов обернулись в итоге серией отсечений «демократических излишеств», иными словами, политической демодернизацией. Политический «маятник» возвращается если не в исходное, то во всяком случае наиболее устойчивое положение. Апатия и пессимизм большинства населения являются факторами стабилизации кризисного общества и его политической системы, но каждый раз — на более низком уровне организации. Наконец, если политический «переход» основан на традиционных социальных механизмах, архаических ценностях и ритуалах, то что это — «переход» или «откат»?

Книга Ю.А. Левады особенно ценна многомерным анализом проблемы «перехода», сопоставлением его «длинных» и «коротких» волн, рассмотрением его политических и социокультурных механизмов под разными углами зрения и каждый раз в исторической перспективе. Сопоставляя и анализируя, Ю.А. Левада не закрывает тему. Напротив, он вовлекает в исследовательский процесс других, что, собственно говоря, и подвигло меня на эти размышления.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Левада Ю.А.* От мнений к пониманию: социологические очерки, 1993–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000.
2. *Гейтнер М.* 3–4 октября 1993 — эпизод или Рубикон? // Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития / Под ред. Т.И. Заславской. М.: Аспект пресс, 1995.
3. *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. Том 1. От прошлого к будущему 2-ое изд., перераб. и дополн. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997.
4. Граждане России: взгляд на самих себя // НГ-сценарии. 1998. № 11 (33). С. 9, 13.
5. *Яницкий О.Н.* Экологическая социология как риск-рефлексия // Социологические исследования. 1999. № 6. С. 50–60.
6. *Клямкин И.М., Тимофеев Л.М.* Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2000.
7. *Beck U., Giddens A., Lash S.* Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.
8. *Давыдов Ю.Н.* Куда пришла Россия? // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. № 4. С. 108–127.
9. *Яницкий О.Н.* Модернизация в России в свете концепции «общества риска» // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии / Под ред. Т.И. Заславской. М.: Интерцентр, 1997.

10. *Наумова Н.Ф.* Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина, ресурс человечества? М.: Эдиториал УРСС, 1999.
11. *Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С.* Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса. М.: Издательство Московского университета, 1996.
12. *Кастельс М.* Информационная эпоха: Экономика, общество, культура / Пер. с англ. под научн. ред. О.И. Шкаратана. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2000.
13. *Бек У.* Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седелника, Н. Федоровой; Послесл. А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
14. *Rosa E.A.* Metatheoretical foundations for post-normal risk // *Journal of Risk Research*. 1998. No. 1 (1). P. 15–44.
15. *Tarrow S.* Power in movement: Social movements and contentious politics. 2-nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
16. Основы хозяйственного расчета Эстонской ССР. М.: Управление делами СМ СССР, 1989.
17. *Yanitsky O.* The ecological movement in post-totalitarian Russia: Some conceptual issues // *Society and Natural Resources*. 1996. Vol. 9. P. 65–76.
18. *Радаев В.В.* Техники формирования инвестиционного поведения населения: на примере вкладчиков «финансовых пирамид» // *Куда идет Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика* / Под ред. Т.И. Заславской. М.: Дело. 1998. С. 247–259.